

АНТОН ЧЕХОВ

Страх



Антон Павлович Чехов

Страх

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22199609

Страх:

Аннотация

«...Дмитрий Петрович Силин кончил курс в университете и служил в Петербурге, но в 30 лет бросил службу и занялся сельским хозяйством. Хозяйство шло у него недурно, но все-таки мне казалось, что он не на своем месте и что хорошо бы он сделал, если бы опять уехал в Петербург. Когда он, загорелый, серый от пыли, замученный работой, встречал меня около ворот или у подъезда и потом за ужином боролся с дремотой, и жена уводила его спать, как ребенка, или когда он, осилив дремоту, начинал своим мягким, душевным, точно умоляющим голосом излагать свои хорошие мысли, то я видел в нем не хозяина и не агронома, а только замученного человека, и мне ясно было, что никакого хозяйства ему не нужно, а нужно, чтоб день прошел – и слава богу...»

Антон Павлович Чехов

Страх

(Рассказ моего приятеля)

Дмитрий Петрович Силин кончил курс в университете и служил в Петербурге, но в 30 лет бросил службу и занялся сельским хозяйством. Хозяйство шло у него недурно, но все-таки мне казалось, что он не на своем месте и что хорошо бы он сделал, если бы опять уехал в Петербург. Когда он, загорелый, серый от пыли, замученный работой, встречал меня около ворот или у подъезда и потом за ужином боролся с дремотой, и жена уводила его спать, как ребенка, или когда он, осилив дремоту, начинал своим мягким, душевным, точно умоляющим голосом излагать свои хорошие мысли, то я видел в нем не хозяина и не агронома, а только замученного человека, и мне ясно было, что никакого хозяйства ему не нужно, а нужно, чтоб день прошел – и слава богу.

Я любил бывать у него и, случалось, гостил в его усадьбе дня по два, по три. Я любил и его дом, и парк, и большой фруктовый сад, и речку, и его философию, немножко вялую и витиеватую, но ясную. Должно быть, я любил и его самого, хотя не могу сказать этого наверное, так как до сих пор еще не могу разобраться в своих тогдашних чувствах. Это был умный, добрый, нескучный и искренний человек, но помню

очень хорошо, что когда он поверял мне свои сокровенные тайны и называл наши отношения дружбою, то это неприятно волновало меня, и я чувствовал неловкость. В его дружбе ко мне было что-то неудобное, тягостное, и я охотно предпочел бы ей обыкновенные приятельские отношения.

Дело в том, что мне чрезвычайно нравилась его жена, Мария Сергеевна. Я влюблен в нее не был, но мне нравились ее лицо, глаза, голос, походка, я скучал по ней, когда долго не видал ее, и мое воображение в то время никого не рисовало так охотно, как эту молодую, красивую и изящную женщину. Относительно ее я не имел никаких определенных намерений и ни о чем не мечтал, но почему-то всякий раз, когда мы оставались вдвоем, я вспоминал, что ее муж считал меня своим другом, и мне становилось неловко. Когда она играла на рояле мои любимые пьесы или рассказывала мне что-нибудь интересное, я с удовольствием слушал, и в то же время почему-то в мою голову лезли мысли о том, что она любит своего мужа, что он мой друг и что она сама считает меня его другом, настроение мое портилось, и я становился вял, неловок и скучен. Она замечала эту перемену и обыкновенно говорила:

– Вам скучно без вашего друга. Надо послать за ним в поле.

И когда приходил Дмитрий Петрович, она говорила:

– Ну, вот теперь пришел ваш друг. Радуйтесь.

Так продолжалось года полтора.

Как-то раз в одно из июльских воскресений я и Дмитрий Петрович, от нечего делать, поехали в большое село Клушино, чтобы купить там к ужину закусок. Пока мы ходили по лавкам, зашло солнце и наступил вечер, тот вечер, которого я, вероятно, не забуду никогда в жизни. Купивши сыру, похожего на мыло, и окаменелой колбасы, от которой пахло дегтем, мы отправились в трактир спросить, нет ли пива. Наш кучер уехал в кузницу подковывать лошадей, и мы сказали ему, что будем ждать его около церкви. Мы ходили, говорили, смеялись над своими покупками, а за нами молча и с таинственным видом, точно сыщик, следовал человек, имевший у нас в уезде довольно странное прозвище: Сорок Мучеников. Этот Сорок Мучеников был не кто иной, как Гаврила Северов, или попросту Гаврюшка, служивший у меня недолго лакеем и уволенный мною за пьянство. Он служил и у Дмитрия Петровича, и им тоже был уволен всё за тот же грех. Это был лютый пьяница, да и вообще вся его судьба была пьяною и такою же беспутною, как он сам. Отец у него был священник, а мать дворянка, значит, по рождению принадлежал он к сословию привилегированному, но как я ни всматривался в его испитое, почтительное, всегда потное лицо, в его рыжую, уже седеющую бороду, в жалкенький рваный пиджак и красную рубаху навыпуск, я никак не мог найти даже следа того, что у нас в общезжитии зовется привилегиями. Он называл себя образованным и рассказывал, что учился в духовном училище, где курса не кончил, так как его

уволили за курение табаку; затем пел в архиерейском хоре и года два жил в монастыре, откуда его тоже уволили, но уж не за курение, а за «слабость». Он исходил пешком две губернии, подавал зачем-то прошения в консистории и в разные присутственные места, четыре раза был под судом. Наконец, застрявши у нас в уезде, он служил в лакеях, лесниках, псарях, церковных сторожах, женился на гулящей вдове-кухарке и окончательно погряз в холуйскую жизнь и так сжился с ее грязью и дрызгами, что уже сам говорил о своем привилегированном происхождении с некоторым недоверием, как о каком-то мифе. В описываемое время он шатался без места, выдавая себя за коновала и охотника, а жена его пропадала где-то без вести.

Из трактира мы пошли к церкви и сели на паперти в ожидании кучера. Сорок Мучеников стал поодаль и поднес руку ко рту, чтобы почтительно кашлянуть в нее, когда понадобится. Было уже темно; сильно пахло вечерней сыростью и собиралась восходить луна. На чистом, звездном небе было только два облака и как раз над нами: одно большое, другое поменьше; они одинокие, точно мать с дитятею, бежали друг за дружкой в ту сторону, где догорала вечерняя заря.

– Славный сегодня день, – сказал Дмитрий Петрович.

– До чрезвычайности... – согласился Сорок Мучеников и почтительно кашлянул в руку. – Как это вы, Дмитрий Петрович, изволили надумать сюда приехать? – спросил он вкрадчивым голосом, видимо, желая завязать разговор.

Дмитрий Петрович ничего не ответил. Сорок Мучеников глубоко вздохнул и проговорил тихо, не глядя на нас:

– Страдаю единственно через причину, за которую должен дать ответ всемогущему богу. Оно, конечно, человек я потерянный и неспособный, но верьте совести: без куска хлеба и хуже собаки... Простите, Дмитрий Петрович!

Силин не слушал и, подперев голову кулаками, о чем-то думал. Церковь стояла на краю улицы, на высоком берегу, и нам сквозь решетку ограды были видны река, заливные луга по ту сторону и яркий, багровый огонь от костра, около которого двигались черные люди и лошади. А дальше за костром еще огоньки: это деревушка... Там пели песню.

На реке и кое-где на лугу поднимался туман. Высокие, узкие клочья тумана, густые и белые, как молоко, бродили над рекой, заслоняя отражения звезд и цепляясь за ивы. Они каждую минуту меняли свой вид и казалось, что одни обнимались, другие кланялись, третьи поднимали к небу свои руки с широкими поповскими рукавами, как будто молились... Вероятно, они навели Дмитрия Петровича на мысль о привидениях и покойниках, потому что он обернулся ко мне лицом и спросил, грустно улыбаясь:

– Скажите мне, дорогой мой, почему это, когда мы хотим рассказать что-нибудь страшное, таинственное и фантастическое, то черпаем материал не из жизни, а непременно из мира привидений и загробных теней?

– Страшно то, что непонятно.

– А разве жизнь вам понятна? Скажите: разве жизнь вы понимаете больше, чем загробный мир?

Дмитрий Петрович подсел ко мне совсем близко, так что я чувствовал на своей щеке его дыхание. В вечерних сумерках его бледное, худощавое лицо казалось еще бледнее, а темная борода – чернее сажки. Глаза у него были грустные, искренние и немножко испуганные, как будто он собирался рассказать мне что-нибудь страшное. Он смотрел мне в глаза и продолжал своим, по обыкновению, умоляющим голосом:

– Наша жизнь и загробный мир одинаково непонятны и страшны. Кто боится привидений, тот должен бояться и меня, и этих огней, и неба, так как всё это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходяцы с того света. Принц Гамлет не убивал себя потому, что боялся тех видений, которые, быть может, посетили бы его смертный сон; этот его знаменитый монолог мне нравится, но, откровенно говоря, он никогда не трогал меня за душу. Признаюсь вам, как другу, я иногда в тоскливые минуты рисовал себе свой смертный час, моя фантазия изобретала тысячи самых мрачных видений, и мне удавалось доводить себя до мучительной экзальтации, до кошмара, и это, уверяю вас, мне не казалось страшнее действительности. Что и говорить, страшны видения, но страшна и жизнь. Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни. Не знаю, быть может, я больной, свихнувшийся человек. Нормальному, здоровому человеку кажется, что он понимает всё, что видит и слышит, а я вот

утерял это «кажется» и изо дня в день отравляю себя страхом. Есть болезнь – боязнь пространства, так вот и я болен боязнью жизни. Когда я лежу на траве и долго смотрю на козлявку, которая родилась только вчера и ничего не понимает, то мне кажется, что ее жизнь состоит из сплошного ужаса, и в ней я вижу самого себя.

– Что же собственно вам страшно? – спросил я.

– Мне всё страшно. Я человек от природы не глубокий и мало интересуюсь такими вопросами, как загробный мир, судьбы человечества, и вообще редко уношусь в высь поднебесную. Мне страшна главным образом обыденщина, от которой никто из нас не может спрятаться. Я неспособен различать, что в моих поступках правда и что ложь, и они тревожат меня; я сознаю, что условия жизни и воспитание заключили меня в тесный круг лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, как ежедневная забота о том, чтобы обманывать себя и людей и не замечать этого, и мне страшно от мысли, что я до самой смерти не выберусь из этой лжи. Сегодня я делаю что-нибудь, а завтра уж не понимаю, зачем я это сделал. Поступил я в Петербурге на службу и испугался, приехал сюда, чтобы заняться сельским хозяйством, и тоже испугался... Я вижу, что мы мало знаем и поэтому каждый день ошибаемся, бываем несправедливы, клеветаем, заедаем чужой век, расходуем все свои силы на вздор, который нам не нужен и мешает нам жить, и это мне страшно, потому что я не понимаю, для чего и кому всё это нужно. Я, голубчик, не

понимаю людей и боюсь их. Мне страшно смотреть на мужиков, я не знаю, для каких таких высших целей они страдают и для чего они живут. Если жизнь есть наслаждение, то они лишние, ненужные люди; если же цель и смысл жизни – в нужде и непроходимом, безнадежном невежестве, то мне непонятно, кому и для чего нужна эта инквизиция. Никого и ничего я не понимаю. Извольте-ка вы понять вот этого субъекта! – сказал Дмитрий Петрович, указывая на Сорок Мучеников. – Вдумайтесь!

Заметив, что оба мы посмотрели на него, Сорок Мучеников почтительно кашлянул в кулак и сказал:

– У хороших господ я завсегда был верной слугой, но главная причина – спиртные напитки. Ежели бы мне теперь уважили, несчастному человеку, и дали место, то я бы образ поцеловал. Слово мое твердо!

Церковный сторож прошел мимо, с недоумением посмотрел на нас и стал дергать за веревку. Колокол медленно и протяжно, резко нарушая тишину вечера, пробил десять.

– Однако, уже десять часов! – сказал Дмитрий Петрович. – Пора бы уж нам ехать. Да, голубчик мой, – вздохнул он, – если бы вы знали, как я боюсь своих обыденных, житейских мыслей, в которых, кажется, не должно быть ничего страшного. Чтоб не думать, я развлекаю себя работой и стараюсь утомиться, чтоб крепко спать ночью. Дети, жена – у других это обыкновенно, но у меня как это тяжело, голубчик!

Он помял руками лицо, крикнул и засмеялся.

– Если б я мог рассказать вам, какого я дурака разыграл в жизни! – сказал он. – Мне все говорят: у вас милая жена, прелестные дети и сами вы прекрасный семьянин. Думают, что я очень счастлив, и завидуют мне. Ну, коли на то пошло, то скажу вам по секрету: моя счастливая семейная жизнь – одно только печальное недоразумение, и я боюсь ее.

Его бледное лицо стало некрасивым от напряженной улыбки. Он обнял меня за талию и продолжал вполголоса:

– Вы мой искренний друг, я вам верю и глубоко уважаю вас. Дружбу посылает нам небо для того, чтобы мы могли высказываться и спасаться от тайн, которые угнетают нас. Позвольте же мне воспользоваться вашим дружеским расположением ко мне и высказать вам всю правду. Моя семейная жизнь, которая кажется вам такую восхитительной, – мое главное несчастье и мой главный страх. Я женился странно и глупо. Надо вам сказать, что до свадьбы я любил Машу безумно и ухаживал за нею два года. Я делал ей предложение пять раз, и она отказывала мне, потому что была ко мне совершенно равнодушна. В шестой раз, когда я, угоревши от любви, ползал перед ней на коленях и просил руки, как милостыни, она согласилась... Так она сказала мне: «Я вас не люблю, но буду вам верна»... Такое условие я принял с восторгом. Я тогда понимал, что это значит, но теперь, клянусь богом, не понимаю. «Я вас не люблю, но буду вам верна», – что это значит? Это туман, потемки... Я люблю ее те-

перь так же сильно, как в первый день свадьбы, а она, мне кажется, по-прежнему равнодушна и, должно быть, бывает рада, когда я уезжаю из дому. Я не знаю наверное, любит она меня или нет, не знаю, не знаю, но ведь мы живем под одной крышей, говорим друг другу *ты*, спим вместе, имеем детей, собственность у нас общая... Что же это значит? К чему это? И понимаете ли вы что-нибудь, голубчик? Жестокая пытка! Оттого, что в наших отношениях я ничего не понимаю, я ненавижу то ее, то себя, то обоих вместе, всё у меня в голове перепуталось, я мучаю себя и тупею, а как назло она с каждым днем всё хорошеет, она становится удивительной... По моему, волосы у нее замечательные, а улыбается она, как ни одна женщина. Я люблю и знаю, что люблю безнадежно. Безнадежная любовь к женщине, от которой имеешь уже двух детей! Разве это понятно и не страшно? Разве это не страшнее привидений?

Он находился в таком настроении, что говорил бы еще очень долго, но, к счастью, послышался голос кучера. Пришли наши лошади. Мы сели в коляску, и Сорок Мучеников, сняв шапку, посадил нас обоих и с таким выражением, как будто давно уже ждал случая, чтобы прикоснуться к нашим драгоценным телам.

– Дмитрий Петрович, позвольте к вам прийти, – проговорил он, сильно моргая глазами и склонив голову набок. – Явите божескую милость! Пропадаю с голоду!

– Ну, ладно, – сказал Силин. – Приходи, поживешь три

дня, а там увидим.

– Слушаю-с! – обрадовался Сорок Мучеников. – Я сегодня же приду-с.

До дому было шесть верст. Дмитрий Петрович, довольный тем, что наконец высказался перед другом, всю дорогу держал меня за талию, и уж не с горечью и не с испугом, а весело говорил мне, что если бы у него в семье было благополучно, то он вернулся бы в Петербург и занялся там наукой. То веяние, говорил он, которое погнало в деревню столько даровитых молодых людей, было печальное веяние. Ржи и пшеницы у нас в России много, но совсем нет культурных людей. Надо, чтобы даровитая, здоровая молодежь занималась науками, искусствами и политикой; поступать иначе – значит быть нерасчетливым. Он философствовал с удовольствием и выражал сожаление, что завтра рано утром расстанется со мной, так как ему нужно ехать на лесные торги.

А мне было неловко и грустно, и казалось мне, что я обманываю человека. И в то же время мне было приятно. Я смотрел на громадную, багровую луну, которая восходила, и воображал себе высокую, стройную блондинку, бледнолицую, всегда нарядную, пахнущую какими-то особенными духами, похожими на мускус, и мне почему-то весело было думать, что она не любит своего мужа.

Приехав домой, мы сели ужинать. Мария Сергеевна, смеясь, угощала нас нашими покупками, а я находил, что у нее в самом деле замечательные волосы и что улыбается она, как

ни одна женщина. Я следил за ней, и мне хотелось в каждом ее движении и взгляде видеть то, что она не любит своего мужа, и мне казалось, что я это вижу.

Дмитрий Петрович скоро стал бороться с дремотой. После ужина он посидел с нами минут десять и сказал:

– Как вам угодно, господа, а мне завтра нужно вставать в три часа. Позвольте оставить вас.

Он нежно поцеловал жену, крепко, с благодарностью пожал мне руку и взял с меня слово, что я непременно приеду на будущей неделе. Чтобы завтра не проспать, он пошел ночевать во флигель.

Мария Сергеевна ложилась спать поздно, по-петербургски, и теперь почему-то я был рад этому.

– Итак? – начал я, когда мы остались одни. – Итак, вы будете добры, сыграете что-нибудь.

Мне не хотелось музыки, но я не знал, как начать разговор. Она села за рояль и сыграла, не помню что. Я сидел возле, смотрел на ее белые, пухлые руки и старался прочесть что-нибудь на ее холодном, равнодушном лице. Но вот она чему-то улыбнулась и поглядела на меня.

– Вам скучно без вашего друга, – сказала она.

Я засмеялся.

– Для дружбы достаточно было бы ездить сюда раз в месяц, а я бываю тут чаще, чем каждую неделю.

Сказавши это, я встал и в волнении прошелся из угла в угол. Она тоже встала и отошла к камину.

– Вы что хотите этим сказать? – спросила она, поднимая на меня свои большие, ясные глаза.

Я ничего не ответил.

– Вы сказали неправду, – продолжала она, подумав. – Вы бываете здесь только ради Дмитрия Петровича. Что ж, я очень рада. В наш век редко кому приходится видеть такую дружбу.

«Эге!» – подумал я и, не зная, что сказать, спросил: – Хотите пройтись по саду?

– Нет.

Я вышел на террасу. По голове у меня бегали мурашки и мне было холодно от волнения. Я уже был уверен, что разговор наш будет самый ничтожный и что ничего особенного мы не сумеем сказать друг другу, но что непременно в эту ночь должно случиться то, о чем я не смел даже мечтать. Непременно в эту ночь, или никогда.

– Какая хорошая погода! – сказал я громко.

– Для меня это решительно всё равно, – послышался ответ.

Я вошел в гостиную. Мария Сергеевна по-прежнему стояла около камина, заложив назад руки, о чем-то думая, и смотрела в сторону.

– Почему же это для вас решительно всё равно? – спросил я.

– Потому что мне скучно. Вам бывает скучно только без вашего друга, а мне всегда скучно. Впрочем... это для вас

не интересно.

Я сел за рояль и взял несколько аккордов, выжидая, что она скажет.

– Вы, пожалуйста, не церемоньтесь, – сказала она, сердито глядя на меня и точно собираясь заплакать с досады. – Если вам хочется спать, то уходите. Не думайте, что если вы друг Дмитрия Петровича, то уж обязаны скучать с его женой. Я не хочу жертвы. Пожалуйста, уходите.

Я не ушел, конечно. Она вышла на террасу, а я остался в гостиной и минут пять перелистывал ноты. Потом и я вышел. Мы стояли рядом в тени от занавесок, а под нами были ступени, залитые лунным светом. Через цветочные клумбы и по желтому песку аллея тянулись черные тени деревьев.

– Мне тоже нужно уезжать завтра, – сказал я.

– Конечно, если мужа нет дома, то вам нельзя оставаться здесь, – проговорила она насмешливо. – Воображаю, как бы вы были несчастны, если бы влюбились в меня! Вот погодите, я когда-нибудь возьму и брошусь вам на шею... Посмотрю, с каким ужасом вы побежите от меня. Это интересно.

Ее слова и бледное лицо были сердиты, но ее глаза были полны самой нежной, страстной любви. Я уже смотрел на это прекрасное создание, как на свою собственность, и тут впервые я заметил, что у нее золотистые брови, чудные брови, каких я раньше никогда не видел. Мысль, что я сейчас могу привлечь ее к себе, ласкать, касаться ее замечательных волос, представилась мне вдруг такую чудовищной, что я за-

смеялся и закрыл глаза.

– Однако уже пора... Спокойной ночи, – проговорила она.

– Я не хочу спокойной ночи... – сказал я, смеясь и идя за ней в гостиную. – Я прокляну эту ночь, если она будет спокойной.

Пожимая ей руку и провожая ее до двери, я видел по ее лицу, что она понимает меня и рада, что я тоже понимаю ее.

Я пошел к себе в комнату. На столе у меня около книг лежала фуражка Дмитрия Петровича, и это напомнило мне об его дружбе. Я взял трость и вышел в сад. Тут уж подымался туман, и около деревьев и кустов, обнимая их, бродили те самые высокие и узкие привидения, которых я видел давеча на реке. Как жаль, что я не мог с ними говорить!

В необыкновенно прозрачном воздухе отчетливо выделялись каждый листок, каждая росинка – всё это улыбалось мне в тишине, спросонок, и, проходя мимо зеленых скамей, я вспоминал слова из какой-то шекспировской пьесы: как сладко спит сияние луны здесь на скамье!

В саду была горка. Я взошел на нее и сел. Меня томило очаровательное чувство. Я знал наверное, что сейчас буду обнимать, прижиматься к ее роскошному телу, целовать золотые брови, и мне хотелось не верить этому, дразнить себя, и было жаль, что она меня так мало мучила и так скоро сдалась.

Но вот неожиданно послышались тяжелые шаги. На аллее показался мужчина среднего роста, и я тотчас же узнал

в нем Сорок Мучеников. Он сел на скамью и глубоко вздохнул, потом три раза перекрестился и лег. Через минуту он встал и лег на другой бок. Комары и ночная сырость мешали ему уснуть.

– Ну, жизнь! – проговорил он. – Несчастливая, горькая жизнь!

Глядя на его тощее, согнутое тело и слушая тяжелые, хриплые вздохи, я вспомнил еще про одну несчастную, горькую жизнь, которая сегодня исповедалась мне, и мне стало жутко и страшно своего блаженного состояния. Я спустился с горки и пошел к дому.

«Жизнь, по его мнению, страшна, – думал я, – так не церемонься же с нею, ломай ее и, пока она тебя не задавила, бери всё, что можно урвать от нее».

На террасе стояла Мария Сергеевна. Я молча обнял ее и стал жадно целовать ее брови, виски, шею...

В моей комнате она говорила мне, что она любит меня уже давно, больше года. Она клялась мне в любви, плакала, просила, чтобы я увез ее к себе. Я то и дело подводил ее к окну, чтобы посмотреть на ее лицо при лунном свете, и она казалась мне прекрасным сном, и я торопился крепко обнять ее, чтобы поверить в действительность. Давно уж я не переживал таких восторгов... Но все-таки далеко, где-то в глубине души я чувствовал какую-то неловкость и мне было не по себе. И ее любви ко мне было что-то неудобное и тягостное, как в дружбе Дмитрия Петровича. Это была большая,

серьезная любовь со слезами и клятвами, а я хотел, чтобы не было ничего серьезного – ни слез, ни клятв, ни разговоров о будущем. Пусть бы эта лунная ночь промелькнула в нашей жизни светлым метеором – и баста.

Ровно в три часа она вышла от меня и, когда я, стоя в дверях, смотрел ей вслед, в конце коридора вдруг показался Дмитрий Петрович. Встретясь с ним, она вздрогнула и дала ему дорогу, и во всей ее фигуре было написано отвращение. Он как-то странно улыбнулся, кашлянул и вошел ко мне в комнату.

– Тут я забыл вчера свою фуражку... – сказал он, не глядя на меня.

Он нашел и обеими руками надел на голову фуражку, потом посмотрел на мое смущенное лицо, на мои туфли и проговорил не своим, а каким-то странным, сиплым голосом:

– Мне, вероятно, на роду написано ничего не понимать. Если вы понимаете что-нибудь, то... поздравляю вас. У меня темно в глазах.

И он вышел, покашливая. Потом я видел в окно, как он сам около конюшни запрягал лошадей. Руки у него дрожали, он торопился и оглядывался на дом; вероятно, ему было страшно. Затем он сел в тарантас и со странным выражением, точно боясь погони, ударил по лошадям.

Немного погодя уехал и я сам. Уже восходило солнце и вчерашний туман робко жался к кустам и пригоркам. На козлах сидел Сорок Мучеников, уже успевший где-то выпить, и

молол пьяный вздор.

– Я человек вольный! – кричал он на лошадей. – Эй, вы, малиновые! Я потомственный почетный гражданин, ежели желаете знать!

Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают.

– Зачем я это сделал? – спрашивал я себя в недоумении и с отчаянием. – Почему это вышло именно так, а не иначе? Кому и для чего это нужно было, чтоб она любила меня серьезно и чтоб он явился в комнату за фуражкой? Причем тут фуражка?

В тот же день я уехал в Петербург, и с Дмитрием Петровичем и его женой уж больше ни разу не виделся. Говорят, что они продолжают жить вместе.